

Лето стремительно катится к закату. Длиннее и холоднее сделались ночи, яснее и прозрачнее небо: высокое, звонко-голубое днем и многозвездное, манящее по ночам. Конец августа. Уже просыпаешься по утрам в тревоге – не было ли заморозка, который в одночасье погубит все нежные огородные растения, опалит, словно после пожара, помидоры и картофельник, скрутит в сухие ломкие трубочки листья огурцов и кабачков, а сами плоды от невидимого гибельного его прохода покроются темными пятнами и сделаются негодными для хранения. Потому и спешить уберечь выращенное, вовремя собрать да заготовить на зиму.

Еще вчера бывший зеленым лес вдруг подернется золотистой дымкой березняка да багряными пятнами осинника. Холодные сентябрьские ветры быстро обтреплют с них помертвевшую листву, и сразу же прозрачнее и тише делается лес, словно просветлится ликом перед длинной, гораздой на испытания зимой. Лес окутает низкими уютными тучами, омоет дождями, и он счастливо затихнет, когда

два он, может, делается степеннее, за-важничает и станет брезгливо воротить нос от заигрывающих с ним пичужек, а пока бесполезно дозывать его из тесных еловых зарослей.

Ай да подарок! Прямо на тропке, едва заметный в траве, под сенью ивового кустика родился из земли крепышок-белый. Ему дня два, он с бурой гладкой шляпкой на толстой, похожей на бочоночек лото, ножке... С малолетства хожу за грибами, но к этой нечаянной радости за все годы так и не смогла привыкнуть, каждый раз сердце трепыхнется при виде такого-то красавца. Хотя знаю, есть белый гриб и поважнее – кремнево-красный и твердый, боровой, едва видный из жесткого голубого мха, похожий больше на камень иль на кусочек коры, не раз и не два обманывавший любой опытный глаз! Всё-таки не выдержу и назавтра рвану на велосипеде в дальний бор, чтобы добыть с десяток эдаких грибных богатей, а пока – пока срезаю упругую ножку логового крепыша, с радостью отмечая, что целый он, не подточен червями, и опускаю его на дно пустой пока корзины.

ложные, авось, прихватит их на свою беду незадачливый грибник. Ну уж нет, слишком ядовито-желтые у вас шляпки, по-змеиному выгнутые тощие ножки без кубочек, без червоточинок. Меня так легко не проведете, не отравите!

Веселые конопатые опенки находят свое место в корзине, которая наполняется всё быстрее и быстрее. В ней путники и волнушки, бордовые и по-лисы рыжие подосиновики, гордцы белые, желторотые моховики, мягкотелые подберёзовики, склизкие маслята, улыбающиеся рыжики, да с выбора взятая, самая красивая во всем лесу сыроежка с зеленоватой шляпкой-колпачком.

А глупый пёс Шарик всё также носится за писклявыми птичками по кустам!

Первые принесенные из лесу грибы будем любовно перебирать всей семьёй, восхищаясь и радуясь, трепетно относясь к каждому грибочку кусочку, вырезая подпорченные бледными чернотеловыми червями места. Обязательно наварим супу, нажарим селянки, наедемся до отвала. А дня через три грибочного поста уже не захочешь ни того, ни другого. Притащен-

Анастасия АСТАФЬЕВА Лес в кадлушке

Рассказ

наконец после ветров, непроглядной мороси, промозглых туманов и скрывающих почву утренняя на землю, на ветви ляжет первый еще влажный снег, от которого станет светло и чисто в округе.

Но случится это нескоро, ведь еще только август, еще ясными выдаются дни, и дожди коротки и теплы. И от тепла, от влаги небесной рождает благодарная земля истинные чудеса, не удивляться которым, не восхищаться, не радоваться может только человек равнодушный ко всему живому.

Управив домашнее хозяйство, деревенские жители, кто своим ходом, чаще – на мотоциклах, отправляются в лес: прошел слух, что рванули в рост белые, боровики, лезут груди, мостами жарятся и червивеют на солнце-печке маслята. Усидишь ли в такую пору дома! Гори все синим пламенем – грибная лихорадка охватывает разум и душу.

Натянув сапоги, набросив на ходу курткушку, с большой берестяной корзиной топаю к ближайшему леску. Мы люди «безлошадные», за десять-пятнадцать километров на своих двоих не уедем. Да и к чему, если за баней, за забором растет всё то же самое, за чем гоняют лихие мотоциклисты, жгут бензин, трясутся на лесных ухабах.

Неспешно, вдыхая полной грудью запахи лесной прели, хвои, грибов, шагаю я по тропинке, заросшей спутанной, не знающей косы травой. Солнце поблещивает на влажных листьях деревьев, на крупных каплях росы в зарослях разнотравья. Поплещивают в ельнике резвые птички, «подружки» моего годовалого пса Шарика. Этих юрких наглых птичек, дразнящих своим писком, ему никак не достать, не добыть, и от досады, от обиды барбос заходится в щенячий истерике, в визгливом недостойном серьезной собаки лае. Года через

Начало положено, в душе начинает разгораться азарт тихой охоты. Мой взгляд цепко бегаёт по траве и мху вокруг, рука крепко сжимает в кармане куртки складной ножичек, и я вдруг ловлю себя на мысли, что похожа сейчас на бандита с большой дороги, готового наброситься с клинком на беззащитного путника. Становится чуть стыдно за свою алчность, но тут-то и попадаются мне путники – серые сопливенькие грибочки, славные в солинии, да и собирать их просто удовольствие, враз с десяток наколупаешь с одного места. Вот затесалась среди них пара волнушек – одна по-поросычки розовая, с загнутыми внутри лохматыми краями, другая – переросшая, до желтизны вымытая дождями, выгнувшаяся воронкой. В этой воронке стоит вода, в воде утонул жук и плавают сосновая иголка. Такая в момент развалилась, раскрошилась, потому я и не беру её, оставляю «на развод».

Сложив солонушки в корзину, собираюсь уже подняться и двинуться дальше, но невдалеке, около молодой осенки, замечаю бордовый подосиновик, а подойдя, рядом ещё один – поменьше. Они тоже оказываются в общей компании.

Я продираюсь сквозь густой ельник, защищаясь руками от хлестких ветвей, спотыкаясь о валежины. В корзинку частым дождиком сыплется засохшая пожелтевшая хвоя. Вот уж намучаюсь после соскребающей её с мокрых грибных шляп да выковыривать из пластинок соля! Хочу разворочаться, но меня отвлекает почти сказочная картина: на раструщем березовом пенёчке толпятся опята, любопытно выглядывают друг из-за дружки, тесная соседка, словно зовут: возьми, мы съедобные, вкусные, не поганки. Циплю тонкошляпых опят и вдруг вижу – с другой-то стороны пенёчка пристроились, подделываются под съедобных

ные всеми домочадцами три-четыре корзины будем долго чистить, замачивать, сушить, мариновать, и незаметно удовольствие от сбора перерастет в однообразный утомительный труд: сходить, собрать, перебрать, порезать для сушки на противни, печку протопить, жар не упустить, но и грибы не сжечь. Сольё – замочить в ванну, тазы, ведра, и чтобы не перекисло, раз, а то и два в день перемывать, засолить, да ещё угодить на общий вкус.

Вечером, падая от усталости, кланёшь все на свете, охашешь, что никогда больше в лес ни ногой, пусть все там пропадёт пропадом! Но тут же спохватившись, представив, сколько же добра по российским лесам растёт и зазря исчезает. До иных мест вообще никто никогда не дойдёт, не дойдет, а ведь земля даром даёт такое богатство, только приди, поклонись, возьми, прокормит лес-батушкой. Да как же это я завтра, отдохнувшая, и не пойду в лес! Гриб-то мой перерастёт, зачервивеет, сопреет, повалится набок, рассыплется споры, и останется от него самое настоящее мокрое место. Это один, а сколько их там! Тысячи! Заснёшь под такие мысли и всю-то ноченьку рыщешь среди деревьев, нет тебе покоя ни во сне, ни наяву.

Так пройдет неделя, вторая, грибы всё растут и растут. Потому что ночи тёплые, дожди благодатные, туманы густые ложатся на землю... К концу третьей так «огрибеешь», что руки понамуцаешь после соскребающей даже в бане грибной грази, иголки еловые в одежде, в сапогах, в волосах. Насолёно ведер пять, насыщено килограммов семь, а все мало! Алчность обуревает, снова с какой-то нездоровой настойчивостью прёшься в лес. Корзина наполняется за полчаса, грибы валяются через край. Стащишь с головы белый платок и в него бросаешь шляп, заранее зная, что тот уже не отстирается. А-а! Все нипочем, когда вокруг гри-



бы, грибы, грибы! Стрёбь бы их в кучу вокруг себя, под себя, как царь Кощей свое богатство, завалился бы этими несчастными грибами и чих над столь доступным лесным златом.

А не спятил ли?! – ужаснешься, ведь весь-то лес в одну кадлушку не запихаешь, не засолишь с укропом и чесноком. Присядешь на пенек, одумавшись, да и тянешься с десятикилограммовой корзиной домой, снова кланяя всё на свете, кроме собственной жадности.

Мотоциклисты с корзинами перестали гонять по деревне. Лес уже не полнится криками и ауканьем, значит, устала земля рожать, значит, всё меньше встречается разноцветных шляп на борах и в березняках.

А тут ещё в огороде новые заботы подошпели – пора убирать картошку. Зимой так-то славно под неё, горяченькую, парящую в чугунке на столе, подцепить на вилку хрусткий грибочек, поспорить с домашними – волнушка это или попутница, а то и сам груздок, и отправить его в рот, припоминая вдруг летние радости, прислушиваясь к неожиданно воскресающему в душе азарту. Сейчас бы с корзиной, да в лесок!.. Но под снегом спят грибочницы до будущей осени, копят силы для новых урожаев.

Миновало короткое бабье лето. С ближнего нетопкого болотца женское население повтыскало алую ядрёную клюкву.

Однажды утром, тоскливо курлякая, пролетела над деревней семья журавлей, летовавшая на том самом болотце, и словно осиротила сельчан

до весны, заронила в душу холодную осеннюю грустинку.

Уже под Покров, удивляясь стойкой, по-настоящему золотой тёплой осени, отправилась я на дальний бор, точно зная, что нет там белых, отросли моховики, вытаскана брусника. Но лес отчего-то ещё манил.

День выдался тихий, безветренный и пасмурный. Плотная серая облачность заволокла небо и солнце. Со-сновый бор застыл, не шумел вершинами, не скрипел старыми стволами. Ни одного живого звука не улавливал мой слух, только похрустывали шишки под ногами, и ступала я осторожно, боясь нарушить покой леса. Что-то жуткое было в этой тишине, тревожное, показалось вдруг, словно всё вымерло в один миг – птицы, животные, насекомые, а я осталась один на один с этим неуютным октябрьским днем.

Облака густели, темнели, опускались всё ниже, и я второпил кидала в корзину тёмно-красные остроконечные шляпки горькушек, самых стойких и многочисленных боровых путников. Ругала себя потихоньку за дерзость: по народным поверьям нельзя под Покров ходить в лес – лешие натешиться, нагуляться спешат, потому как после праздника положено им убраться на покой. Вот они и забавятся с приподнявшимися грибочками, водят, заманивают в глушь... От мыслей таких и вовсе не по себе мне сделалось в знакомом каждом деревом лесу. Завязав наполненную горькушками корзину платком, я решительно направилась к дому, но сделала лишь два шага и застыла в изумлении. Из нависших туч на затихший до звона в ушах бор, на сосны, на мох, на бордовые шляп-

ки грибов медленно стали опускаться снежные хлопья. Они словно зависали в воздухе, ещё раздумывая, время ли им падать на землю. И от этих чистых снежных хлопьев сразу стало легче и светлее на душе. Показавшаяся тревожной природа застыла вовсе не в ожидании чего-то страшного, нет. Она точно знала день первого снега, готовилась к нему, терпеливо ждала, как желанного гостя, а, дождавшись, успокоенно задремала, уверенная в том, что всё ладно на белом свете. Придёт, как и положено, в свой срок зима. Пронесутся над заснеженными лесами метели, укачают, убакочают сосны, ели, берёзы, осины до нескорого тепла.

И хотя этот первый снег неверный, таёт, едва коснувшись мха, и после него ещё будут холодные дожди и совсем редкие короткие солнечные денки, и земля, и лес, и само небо уже познали чудо очищения, уже обрели покой и веру в вечность, незыблемость природных законов. И моя душа, ставшая случайно свидетельницей этого таинства, тихо и светло грустила о зыбкости и неправедности законов человеческих.

Той осенью я больше не ходила в лес, он запомнился мне таким: заворонженным, застывшим на всю тёмную сырую зиму.

Порой, во сне, мне слышался запах осеннего леса, сияющего, ликующего, по-отечески ласкового и щедрого. Хотелось шептать ему: спи спокойно до бурных весен и золотых сентябрей, спи, я знаю, что ты всегда примешь меня и наградишь за любовь и преданность тебе.

г. Вологда

Танька была нагулянной. Об этом ей регулярно сообщала бабушка. Так и говорила: «Чего от тебя ждять-то, от нагулянной?».

После чего непременно уходила в размышления о Танькиных родителях: «Нет бы на кого стоящего запала (это про Катерину, мать Танькину), а то сама пустоголовая, он (отец то бишь) – ни кожи, ни рожи, вот и выродили детушку». Танька к бабушкиным речам привыкла, хотя иногда ей хотелось узнать что-нибудь еще про своих родителей.

Анна Егоровна (так звали Танькину бабушку) всю жизнь проработала телятницей в совхозе, за что имела удостоверение «Ветеран труда», поздравительную открытку к Дню работника сельского хозяйства и мучительный артрит, скрючивший почти все суставы её некогда могучего организма. Однако характер у этой старушки был тот ещё: с надуманного её не своротить, а вот за обиду можно было понаслушаться.

Катерина была её единственной дочерью. Отца она никогда не знала, ибо молодой муж Анны Егоровны убит был упавшей сосной на делянке через три месяца после свадьбы. Мать, понятное дело, работала от зари до зари – всё-таки одна девку воспитывала. Выросла Катерина как-то незаметно, после школы уехала в Северодвинск учиться на закройщицу, а уже к лету вернулась тяжёлая. Поругалась Анна Егоровна, погремела крынками, да делать нечего.

Мать из Катерины получилась хорошая, только не суждено ей было воспитать Таньку до полного возраста, оставила сиротой, едва той исполнилось четыре годика. Скрутило Катерину быстро: Рождество встретила на больничной койке, а в Крещенский сочельник ей уже готовили другую постель – топорами да ломами ворошили промерзшую глину.

Так и остались Анна Егоровна с Танькой вдвоём. Матери Танька почти не помнила. Только смотрела порой на её фотографии и думала, что лицо у этой женщины такое знакомое-знакомое. Хотя не оттого ли, что фотографии были изучены ею вплоть до самой маленькой черточки?

Танька росла тихой девочкой, со своими какими-то укромными делами и заботами, которые, правда, не всегда одобрялись её бабушкой. Анна Егоровна считала, что растить Таньку надо в строгости, и за провинности наказывала. Ремня в руки не брала, зато на язык остра была, до слёз Таньку в два счёта доводила.

Особенно Егоровне удавались всякие обзывательства. Так, за любовь к кошкам она стала Таньку кошкóдёркой дразнить. И вроде страшного ничего в этом не было, а всё-таки при бабушке Танька на кошек уже не смотрела.

Исключением была только Муська – шустрая чёрно-белая кошечка, которую Егоровна держала, чтобы мышам спуску не давать. С Танькой они были не разлей вода: Муська, как хвост, всюду следовала за юной хозяйкой. По весне кошка заметно округлилась. «Опять не меньше шести выродит!» – возмущалась, глядя на неё, Егоровна и пыталась высчитать срок, когда ждать пополнения. С котятками старушка расправлялась быстро: выносила новорожденных под тополь, увешанный вороньими гнездами, и оставляла на волю крылатых хищников.

Однако в этот раз всё пошло не по плану. В июне живут у Муськи пропал. И сама она почти перестала бывать дома. Ясное дело, родила где-то. Вот только потомство кошка умело прятала. Сколько ни пыталась Егоровна её выследить, всё впустую: поводит её Муська кругами возле дома да и сбегит незаметно.

Как-то раз, когда бабушка ушла к соседке посидеть, Танька увидела Муську на тропинке у бани. С кошкой явно было не всё в порядке. По дорожке она не бежала, как обычно, держа хвост трубой, а медленно ползла, перебирая перед-

Антонида
СМОЛИНА

Танькины слезы

Рассказ



ними лапами. Танька рванула к своей любимице. Муська, Мусечка её буквально была разодрана. Видно, встретилась ей на узкой дорожке чья-то собака. Как она вообще смогла от неё вырваться!

Танька боялась прикоснуться к истерзанному кошачьему телу.

– Милая моя! Хорошая моя! Ты поправишься! Ты обязательно поправишься! – причитала она, и на окровавленную шерсть крошила кискины слёзы.

– Муся, Мусечка! Кис-кис-кис! – Танька попыталась подозвать кошку к бочке с водой, чтобы там, в теньке, смочить её раны.

Муська же из последних сил карабкалась в сторону бани. «Котятка! – вдруг озарило Таньку. – Там её котятка!».

– Покажи мне, где они, Мусечка! Я помогу тебе. Я обещаю тебе, я никогда вас не брошу. Только не умирай, прошу тебя, не надо умирать...

вались к нему и громко чмокали. Девочка лежала рядом и шёпотом рассказывала им про Муську: ей ли не знать, насколько важно помнить свою маму.

А через пару недель тайна была с блеском раскрыта Егоровной. Котят извлекли на свет Божий, над Танькой же нависла небывалая гроза.

– Ах ты кошкóдёрка! Выкормила на свою голову! Куда мне столько кошек? Скажут, совсем Егоровна с ума спятила. А я ни сном ни духом. Говори, где научилась от бабушки таиться? – долго Егоровна отчитывала плачущую Таньку.

А после как отрезала:
– Чтобы сегодня же их тут не было!
– Бабушка, куда же я их дену?
– Знала, как прятать, знай, и куда девать!

В отчаянье Танька понесла котят под тот самый тополь. Из-за слёз она не видела дороги, шла, будто пьяная, крепко прижимая к груди коробку с котятками. Положила свою ношу под деревом, а сама в беспамятстве повалилась в траву.

Долго ли там лежала Танька, она не поняла, но разбудили её знакомые коготки и мокрые мордашки, которые привычно путались в её волосах. Окрепшие на сметане, котятка смогли сами выбраться из коробки.

Танька стрельба своих подопечных в охапку и побежала к бабушке. Почему-то ей вдруг показалось, что бабушка сможет понять и простить её. Танька неслась домой, не чувствуя дороги под ногами.

Однако гроза ещё не миновала. Егоровна завелась не на шутку.

– Мне кошек не надо – и точка. Сейчас же убирай! Чтобы духу твоего не было, пока не уберёшь!

– Бабушка, их вороны не едят, они уже большие, – попыталась оправдаться Танька.

– Мне какое дело! Сама вырастила. Бери лопату, иди за-капывай.

– Они же живые! – захлебнулась в рыданиях Танька.
– Велико дело – живые. Это кошки. Они, как тараканы, плодятся. Куда их девать-то? Убирай, кому говорю!

И Танька закопала котят. У дороги она вырыла небольшую ямку, постелила в неё травы. По очереди брала котят и складывала горкой – так, как увидела их впервые. Они расплазались, натыкаясь друг на дружку, переворачивались на спину и сучили лапками, пытаясь выбраться из ямы. Танька уговаривала их, целовала и складывала обратно. Потом зацепила лопатой земли и сыпнула на них сверху. Влажный песок не смог пробиться в густой подшерсток котят и скатывался с них, словно вода со смазанной сковороды. Малыши наперебой замаякули и стали ещё активней карабкаться из ямы. Танька снова сыпнула земли. Потом ещё и ещё. А после прижала ладошками бурок, из-под которого всё ещё неслись сдавленные звуки.

Домой она вернулась затемно, молча разделась и легла спать.

Про этот случай в доме Егоровны никогда не говорили. Танька стала ещё тише и послушней. Осенью пошла в первый класс. Училась на одни пятерки. Егоровна с гордостью показывала её дневник соседям.

С тех пор прошло много лет. Уж покосилась та изба, в которой хозяйничала Егоровна. Завалился набок банька, где хитрая кошка спрятала от неё своих котят. Затаило бельём и крапивой тропинки, на которые крошились горькие девчончьи слёзы. Все стирает время, нет у него памяти. И только в душевной палате районного дома для престарелых самой смертью забытая старушка всё ещё помнила, как заплаканная Танька прижимала к груди коробку с котятками.

г. Великий Устюг